

Лункевич В.В.

От Гераклита до Дарвина
Очерки по истории биологии. Том 2

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 57
ББК 28
Л84

Л84 **Лункевич В.В.**
От Гераклита до Дарвина: Очерки по истории биологии. Том 2 / Лункевич В.В. – М.: Книга по Требованию, 2012. – 546 с.

ISBN 978-5-458-32219-5

В "Очерках" сделана попытка дать широкую, синтетическую картину развития всех отраслей биологии на протяжении огромного периода - примерно 2500 лет! Автор пытался показать развитие мировой биологической науки в связи с социально-историческими условиями той или иной эпохи, в связи с развитием других отраслей естествознания и философии.

ISBN 978-5-458-32219-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



ГЛАВА ПЕРВАЯ



ЧТО ДЕЛАЛОСЬ ВО ФРАНЦИИ?

Борьба за королевскую власть и Ришелье. — Людовик XIV. — Писатели XVII века. — Салоны XVIII века. — Монтескье, Вольтер и Руссо как выразители идеологии различных слоев французской буржуазии. — Бюффон — представитель эпохи просвещения. — Его научная карьера. — Основные биологические идеи. — Бюффон и Дарвин. — Общая оценка его деятельности

В XVII веке Англия была занята кипучей политической борьбой, стремилась к новому укладу жизни, творила новые идеи в науке, философии и искусстве, выдвинув ряд замечательных людей — поэтов, философов, ученых, политических деятелей, трудами которых росла культура не только самой Англии, но и всей Европы, особенно Франции.

До начала XVIII века Франция, избалованная славой и блеском королевского двора, исполненная национального самодовольства и несколько запуганная «Великим мятежом» и казнью Карла I, пренебрежительно и настороженно относилась к культуре и просвещению своей островной соседки. Но вместе с тем, как «облетали цветы и догорали огни» по-своему блестящей эпохи «короля-солнца», приведшей Францию к нищете и все возраставшему угнетению, интерес к стране «конституционных свобод» постепенно пробуждался. Франция стала учиться у Англии — присматривалась к ее умственной и политической жизни, лихорадочно усваивая хозяйственные навыки и идеи «островитян», а там, довольно быстро оперившись, взмахнула крыльями, обогнала свою наставницу и повела за собой весь цивилизованный мир.

Настал век просвещения — законнейшее детище эпохи Возрождения; и многое из

того, чего не договорила эта незабвенная эпоха, нашло живой отклик в умах и сердцах людей века просвещения. И вновь, преодолевая тьму времен, оставшихся позади, послышался горячий призыв к изучению природы — призыв проникнуть в тайники ее порывом мысли, освобожденной от авторитета духовной и светской власти, призыв познать законы мироздания и социальной жизни, использовать их в интересах новых, призванных историей общественных группировок. Умы, замороженные великими идеями глубокой старины и современности, работали напряженно. Воля к действию во имя обновленных общественных и политических форм росла. Франция на время стала законодательницей для ряда культурных стран — и в серьезном и в пустяках, и в великом и в малом, и в благородном и в пошлом, и в том, чему надлежало утвердиться в жизни, и в том, что должно было за ветхостью сойти со сцены. Во Франции «старого порядка» уж загорались всюду очаги «нового режима...» (1)

Еще в XVI веке, при Генрихе IV, началась во Франции упорная борьба между центральной властью, осуществляемой королем, и крупными феодалами, чувствовавшими себя царьками в своих владениях. При Людовике XIII (1611—1643) борьба

эта разгоралась все больше и больше благодаря главным образом той политике абсолютизма, которую систематически проводил Ришелье (1585—1642). Феодалы руководились в этой борьбе девизом: «Время королей прошло, и наступило время вельмож и князей» (*le roi est mineur, soyons les majeurs*). А Ришелье неукоснительно проводил в жизнь идеи, высказанные им в его «Политическом завещании»: «Для правителя прежде всего необходимо безусловное повиновение всех... Народ должен быть содержим в покорности... Общегосударственная цель должна стоять всегда впереди всех других соображений...»

Созыв Генеральных штатов показал отсутствие какой бы то ни было солидарности между представителями трех сословий, ярко определившихся в XVII веке: духовенство и дворяне, составлявшие незначительную часть тогдашнего населения Франции (около 500 тысяч из 25 миллионов) и добивавшиеся укрепления своих позиций, вопреки правам и прерогативам короля, потерпели поражение; «третье сословие» предпочло самодержавие короля самодержавию «вельмож и князей», бесконтрольно распоряжавшихся судьбами остального населения. Не было единогласия и в рядах самого дворянства: подавляющее большинство его шло экономически на убыль, уступая место крепнущей буржуазии. (2)

Экономическая политика развевалась под знаком идей, рекомендуемых все тем же Ришелье, сумевшим правильно оценить объективный ход вещей. Замена натурального хозяйства денежным, протекционизм и регламентация хозяйственной жизни, направленные к росту обрабатывающей промышленности за счет земледелия, поощрение торговли, преклонение перед золотым тельцом — деньги считались основным показателем богатства страны — все это, служа непосредственным интересам государственной и королевской казны, в то же время открывало для верхних слоев буржуазии пути к обогащению и достижению «высоких степеней».

Борьба за абсолютизм, опирающаяся на ненависть широких масс к феодалам в штатском и в рясах, при поддержке буржуазии достигла апогея в дни Людовика XIV, которому не без основания приписывают

излюбленный абсолютными монархами девиз «*L'état c'est moi*!» («Государство — это я!»). Так оно фактически и было.

«Фронда» сокрушена. Высшее дворянство (феодалы аристократия), ловко отстраненное от управления государством, умиротворено, осыпано «милостями» короля: оно великолепно устроилось при дворе, получая почетные звания и внушительные пенсии; промышленники и купцы обласканы подарками, субсидиями, концессиями, подрядами и, что особенно льстило их самолюбию, возведением в дворянство, покупаемое то за какие-либо специальные услуги королю, то за «приличную» мзду; высшее духовенство, имеющее доступ ко двору, не может нахвалиться королем за отмену Нантского эдикта, данного Генрихом IV и предоставлявшего гугенотам свободу вероисповедания; иезуиты полновластно творят свое мерзкое дело, придворные поэты славословят «короля-солнце»; а что касается мелкой буржуазии и трудовых масс, то им, согласно «Завещанию», оставленному Людовиком XIV в поучение наследнику, предоставлена единственная привилегия: повиноваться беспрекословно всему, что исходит от «священной особы короля», о котором в «Завещании» сказано, что он, во-первых, «заступает место бога и потому разделяет с ним всеведение и всемогущество», а во-вторых, является единственным собственником «всего, что находится в пределах государства», — пусть, дескать, Мазарини, Кольберы и иные согреты вниманием короля государственные мужи твердо это помнят и делают все от них зависящее, чтоб обогатить государственную казну, необходимую для удовлетворения «нужд» короля и его двора. А нужд у них несчетное число, и денег они требуют фантастических.

«*L'univers sous ton règne a-t-il des malheureux?*» («Разве мир под твоим управлением знает несчастных?»), —

колени преклоненно восклицал придворный проповедник, блестящий оратор и воспитатель сына Людовика XIV — Боссюэт. Да и откуда, в самом деле, было взяться «несчастливым» при дворе великого изобретателя всяческих радостей бытия? Этот дворцовый «мир» (*L'univers*) действительно купался в потоках «счастья»: торжествен-

ные церемонии, балы, празднества, corteжи, пиршества калейдоскопически сменяли друг друга, обходясь в миллионы ливров золота тем, кто имел несчастье находиться за гранями этого «мира». Людовик XV несколько запоздал со своим «*argés moi le déluge*», ибо этой «максимой» полностью руководились уже при дворе его отца — Людовика XIV. Были, впрочем, особые несчастья и у представителей великосветского мира. Им часто приходилось вести интриги и бороться всеми дозволенными и недозволенными средствами за право занимать доходные и почетные места при дворе и короле: за право держать подсвечник в то время, когда король будет раздеваться, присматривать за королевской постелью, носить ливрею из красной и голубой материи с золотыми и серебряными нашивками, за счастье быть приглашенной из числа великосветских дам на бал в Версальском дворце. А сколькими несчастьями было чревато невыполнение или даже отступление от придворного этикета и «хорошего тона», за соблюдением которого следил и сам «*Superarbiter elegantiorum*», Людовик XIV, и его многочисленные метрессы...

Нельзя сказать, чтобы вся эта атмосфера особенно благоприятствовала развитию наук и искусств, тем более, что и в этом отношении Людовик XIV старался следовать указаниям Ришелье. В завещании последнего сказано: «Науки служат одним из величайших *украшений государства*, и обойтись без них нельзя; но не следует преподавать их всем без различия, ибо государство будет тогда похоже на безобразное тело, которое во всех своих частях будет иметь глаза». «Не следует» тем более, что, по глубокому убеждению знаменитого кардинала, «черни больше приличествует грубое невежество, чем утонченное знание».

Покровительствуя наукам и искусствам эпохи Людовика XIII, Ришелье основал Французскую академию, занятую по преимуществу вопросами литературы, и официальную прессу. Оба эти учреждения находились под строгой опекой правительства и должны были воспитывать общественное мнение в духе государственных интересов.

Век Людовика XIV не был обижен талантами: достаточно назвать таких мыслите-

лей, как Декарт, Паскаль и Гассенди, таких художников слова, как Корнель, Расин и Мольер. Но, живя в строго регламентированной атмосфере, призывавшей их быть *украшением* государства и способствовать его внешнему *блеску*, они не имели возможности полностью выявить свое дарование, быть подлинными глашатаями философских, научных и художественных истин. И потому одни из них — как Декарт и Гассенди — искали этой возможности в эмиграции, другие ударились в кружевную отделку ложноклассических тем, а третьи либо сломились под гнетом деспотических требований эпохи, либо, как это было с Мольером, высмеивавшим ханжество, лицемерие, алчность, напускную ученость, хвастливое жеманство и пустую светскую болтовню, терпели попеременно то гнев, то милость двора и впадали в мизантропию.

Перебирая в памяти ряд крупных имен этой эпохи, начиная с *Лафонтена* и кончая *Паскалем*, вы сразу же уловите основной тон их настроений — индивидуально различный, но в общем схожий.

Знаменитый баснописец, обладавший живым, насмешливым умом и изящным стилем, был склонен к пессимизму не в меньшей мере, чем автор когда-то нашумевшего «Телемака», в котором *Фенелон*, мечтавший о теократии, одобренной парламентаризмом, дал в сущности проникновенную сатиру на всю систему управления при Людовике XIV. Неглубокий, но остроумный *Лабрюйер*, бичевавший моды, нравы и вообще весь стиль жизни светского общества, был сродни мизантропу *Ларошфуко*, считавшему людей себялюбцами, примитивный эгоизм которых пронизан сплошь лицемерием — тем самым лицемерием, которое, говоря словами Ларошфуко, «есть дань, отдаваемая пороком добродетели».

Несколькими головами выше поднимается над ними фигура *Паскаля*. Что стало с этим исключительно даровитым человеком, автором пламенно красноречивых, насыщенных негодованием памфлетов — «*Les Provinciales*», которыми он стегал иезуитов? Жизнь преждевременно загубила его. Замечательный ученый — математик и физик, обогативший науку многими открытиями, он стал глубоким скептиком; страдалец мысли, о чем так правдиво повест-



Шарль Монтескье

вуют его «Pensées», он пришел к мистицизму в философии и аскетизму в жизни и ушел из нее, не прожив и 40 лет.

Так, люди, служившие лишь «украшением государства», уже одним фактом своих настроений свидетельствовали о том, какой ценой покупался тот «блеск», которым отливало царствование Людовика XIV.

Оценивая объективно эту эпоху, надо, конечно, не упускать из виду и положительных, выдвинутых историей, сторон ее: «собрание» земли французской воедино, внимание к промышленности и торговле, а стало быть, и к крепнущей буржуазии. Но отрицательные, особенно при наличии всех сумасбродств верховного владыки и двора, взяли полностью верх. К концу царствования Людовика XIV (1715) экономическое и финансовое положение Франции было плачевно: «Провинциальное население, доведенное до отчаяния разорением, — писал впоследствии Сен-Симон, — трепетало от радости при вести о смерти короля... Народ выражал со скандальной горячностью благодарность богу за свое избавление от прежних бед».

Не лучше, а значительно хуже пошли дела при Людовике XV — бездельнике,

празднолюбе, легкомысленном расточителе, окружавшем себя толпой такой же безответственной знати. При Людовике XVI правительство спохватилось и стало было чинить разбитый, как старый рыдван, государственный и финансовый механизм при содействии Тюрго и Неккера. Но было уже поздно. Недовольство ползло со всех сторон. Оппозиция крепла. Надвигалась буржуазная революция 1789 г.

Всем хорошо известны и ближайшие причины и различные перипетии французской революции. Нам следует отметить, пожалуй, лишь один существенный фактор ее: волеизъявление «третьего сословия» и, в частности, прогрессивной в ту эпоху буржуазии, стремившейся к власти, революционно настроенной, готовой лечь костями за свои интересы и свободолюбивые идеи, отвечающие этим интересам.

Французское дореволюционное общество XVIII века, точнее — крупная и мелкая буржуазия, а также перешедшая на сторону ее наиболее жизнеспособная оппозиционная часть дворянства и духовенства томились тягой к знанию. Классовые интересы буржуазии, требовали развития науки. И свет знания, занесенный из Англии, распространялся во Франции все сильнее и сильнее трудами целого созвездия «просветителей», ставших гордостью и славой не одной лишь Франции, а всего культурного человечества. Главнейшим оружием их деятельности в эту пору служили *салоны и печать*.

Салоны первое время являлись центрами растущей оппозиции. Отсюда исходили новые идеи; здесь дебатировались жгучие вопросы философии, науки, политики; здесь, в схватках между либеральными представителями аристократии и радикально настроенной буржуазии, выковывались лозунги грядущей революции. Лучшие люди эпохи — Дидро, Руссо, Гольбах, Вольтер, Гельвеций, Даламбер — были неизменными посетителями великосветских салонов, для которых, по образному выражению Тэна, «философ стал такой же необходимой принадлежностью, как люстра со своими яркими огнями».

Передовому обществу Франции давно уже претили не только легенды и басни, которыми церковь убаюкивала и отравляла

мысль и совесть доверчивых людей, но и деяния ее высших представителей; в такой же мере угнетал его и весь социальный уклад того времени. И вот, как бы в ответ на это недовольство, пока еще не вполне осознанное и оформленное, полились насмешливые, ядовитые речи *Вольтера*; раздалась сперва сатира *Монтескье*, а там и предложенный им проект нового политического уклада жизни; громко, на весь мир прозвучал пламенный призыв *Руссо* покончить с царящей повсюду социальной несправедливостью.

Монтескье (1689—1755) — один из умнейших идеологов той части французской буржуазии, которая в политике довольствовалась перспективой ограничения абсолютной власти короля. Во время революции того же самого добивалось и большинство жирондистов.

В своих замечательных «Персидских письмах», представляющих злую карикатуру на политический строй Франции и нравы ее знати, *Монтескье* очень определенно высказал свой взгляд на королей вообще, которые, говоря его словами, «обладают такой властью, какой сами захотят», и специально короля Франции, о котором в «Письмах» en toutes lettres сказано: «Французский король — это искусный чародей; он властвует даже над умами своих подданных и заставляет их думать все, что ему угодно: он уверил их даже в том, что одним своим прикосновением может излечить их от всевозможных болезней — до такой степени сильна его власть над всеми умами».

На вопрос, как же должно быть организовано не абсолютистское, а правовое государство, дается ответ в другом прославленном труде *Монтескье*, в его «Духе законов». Тут он выступает убежденным защитником конституционной и парламентарной монархии, в основу которой положена идея о разделении властей, о строгом и точном разграничении прав и обязанностей законодательной, исполнительной и судебной власти. «Каждое общество, в котором не установлено разделение властей, не имеет конституции» — так сказано в «Духе законов». Законодательную власть *Монтескье* предоставляет парламенту, состоящему из «избранных народа», мотивируя это следующим комментарием: «Следовало бы,

чтобы весь народ в полном своем составе обладал законодательной властью; но, — говорит автор «*Esprit des lois*», — так как это невозможно в больших государствах, а в маленьких сопряжено со множеством неудобств, то нужно, чтобы народ при посредстве своих представителей делал то, чего сам делать не в состоянии». Во главе исполнительной власти, проводящей в жизнь постановления власти законодательной, он ставит короля; судебная же власть «должна находиться в руках людей, взятых из народа... Нужно даже, — прибавляет наш автор, — чтобы в случае особо важных обвинений обвиняемый сам выбирал своих судей».

Не следует, однако, забывать, что под «народом» здесь разумеется буржуазия, и что при всем своем либерализме *Монтескье* считал невозможным уравнивать в правах все сословия: нельзя, например, чтобы крестьяне пользовались такими же правами, как дворяне, нельзя возлагать на дворян те же повинности, которые возложены на крестьян. Государственный строй, рекомендованный французским мыслителем, был осуществлен впоследствии во многих странах и выявил полностью все свои как положительные, так и сугубо-отрицательные стороны, характерные для всякого классового общества. Но многие из мыслей *Монтескье*, нашедшие почти текстуальный отзвук в «Декларации прав человека и гражданина» и осуществленные постановлениями Национального собрания, были тогда не только новы, смелы, но и действительны, ибо отвечали интересам и требованиям выступившего на историческую арену революционного класса — буржуазии. (3)

Еще в меньшей степени могло бы удовлетворить нас сейчас общественно-политическое credo другого колосса века просвещения — *Франсуа-Мари-Аруэ — Вольтера* (1694—1778).

Правда, он требует уничтожения всех пережитков феодализма, горячо борется за справедливый суд и отвечающую такому суду юрисдикцию, бичует нравы и предрассудки высшего света, не устает кричать: «*Écrasez l'infâme!*» («Раздавите гадину!»), разумея под этим церковь и клерикализм, воспекает разум и его детище — цивили-



Франсуа-Мари-Аруэ — Вольтер

зацию; но, стоя, подобно Монтескье, за конституционную монархию, Вольтер в то же время решительнее его, без оговорок защищает социальное неравенство, бросая, между прочим, такую фразу: «Если чернь принимается рассуждать, — все погибло».

Вольтер — деист. Его бог — перво-причина, перводвигатель мироздания; но в то же время и «наиболее правдоподобная из возможных гипотез», нечто вроде монтаньевского «Grand peut-être». Бога он хотел бы сохранить как сдерживающее начало, как узду, оберегающую людей, особенно «чернь», от низменных побуждений человеческой природы. Но это для других, а для себя он приберег такую роскошь, как сомнение. «Мы не знаем, — пишет он, — что такое бог, что такое материя, что такое живое существо... Сегодня я высказываю какую-нибудь мысль, на завтра сомневаюсь в ней, а послезавтра отвергаю ее: я могу ошибаться ежеминутно...»

В качестве просвещенца и поклонника разума он жестоко издевается над богом

всех положительных религий, высмеивая беспощадно суеверия и предрассудки всяческой «толпы» и в первую голову велико-светской, категорически заявляя: «Не верю, потому что абсурдно» — это в противовес «credo quia absurdum est» — и столь же решительно афишируя свое неверие в бессмертие души, в рай и ад: «Я не желаю, — пишет он, — ни быть наказанным за грехи Адама, ни получать прощение за заслуги Христа». Но, издеваясь цинично над чудачками, ищущими «мыслящую и чувствующую душу в темном местечке между прямой кишкой и мочевым пузырем», он в то же время остается дуалистом, признающим существование двух начал: души и тела.

Эти противоречия, почти неизбежные для философов, темпераментно откликающихся на злободневные запросы своей эпохи, всецело искупаются той миссией, которую так блестяще выполнил Вольтер, этот поистине король среди всех существовавших когда-либо публицистов-мыслителей. (4)

Сильный, сверкающий сарказмом ум, имеющий перед собой такие замечательные образцы сатирического и скептического творчества, как «Гаргантюа» Рабле и «Опыты» Монтэня; исключительный талант беседовать с читателем увлекательно, то с пафосом проповедника, «глаголом жгущего сердца людей», то с веселым «бесовским задором»; неистощимая разносторонняя писательская энергия — сегодня он сочиняет стихи, завтра назидательную юмористическую повесть, а там философскую драму, ученый трактат, сатиру, статью для энциклопедии или историческое исследование, насыщенное злобой сегодняшнего дня¹, — все это позволяло Вольтеру быть неподражаемым популяризатором научных, философских и политических идей, громить под прикрытием остроумной шутки или едкого каламбура нравы и порядки Франции, будить спящих, подбадривать колеблющихся, вдохновлять смелых, клеймить позором ретроградов и пошляков, убить которых можно было лишь одной фразой: «Я не понимаю, как могут мыслящие существа жить в стране обезьян, которые то и дело превращаются

¹ «Я, — говорит он, — люблю все девять муз и стараюсь искать счастья у каждой из них».

в тигров. Мне по крайней мере стыдно жить даже на границе»¹.

Этот гениальный остроумец, фаворит короля прусского и императрицы русской, сам того не ведая, и, конечно, не желая, был одним из самых усердных могильщиков «старого порядка» и своих венценосных покровителей. Он сеял тот самый ветер, вместо которого новое поколение Франции пожало целую бурю...

Если Монтескье и Вольтер были идеологами крупной буржуазии и впоследствии жирондистов, то защитником интересов остальных слоев третьего сословия и впоследствии идеологом «Горы» (якобинцев) нужно считать другого корифея эпохи просвещения — Руссо (1712—1778).

Жан-Жак Руссо — один из неугасаемых светочей, которыми красна и радостна жизнь культурного человечества. Он был бесстрашен в своих мыслях. Он доводил их до надлежащего конца, не боясь показаться не то дерзким бунтарем, не то наивным чудачком. Громадный талант Руссо, его идеи-поджигатели, его афоризмы — разрывные бомбы, его пламенные речи открывали ему свободный доступ в сердца людей, пленяли мысль, мешали видеть ошибки великого учителя. В 1750 г. Дижонская академия поставила вопрос: «Способствовали ли науки и искусства исправлению нравов?» — «Нет! — отвечал Руссо, — они способствовали не исправлению, а порче нравов». Ответ, восхитивший одних и возмущивший других, требовал обстоятельного обсуждения. И четыре года спустя появляется другая работа Руссо — «О причинах неравенства между людьми», в которой читаем: «Человек родился свободным, и везде он в цепях». Золотой век — весь в прошлом, в первобытном состоянии людей. Тогда, и только тогда они были вольными сынами вольной природы. Но золотому веку пришел конец. «Первый, кто напал на мысль, огородив участок земли, сказать: «Это — мое!» — и найти людей, достаточно простодушных, чтобы ему поверить, был настоящим основателем гражданского общества. От скольких преступле-

ний, войн и убийств, от скольких бедствий и ужасов избавил бы род человеческий тот, кто, выдернув колья и засыпав межи, крикнул бы своим ближним: «Не слушайте этого обманщика! Вы погибли, если способны забыть, что плоды земные принадлежат всем, а земля — никому!..»

Но такого человека не нашлось. «Обманщик» взял верх. Он соблазнил своих близких не только правом частной собственности, но и картиной мирной жизни под защитой правителей общества. И «все устремились навстречу цепям, надеясь упрочить свою свободу», а на самом деле создав условия, при которых «глупец руководит мудрецом и горсть людей утопает в роскоши, тогда как голодная масса нуждается в самом необходимом...»

Прошло восемь лет со времени появления второй диссертации Руссо, и в умонастроении его произошел некий перелом — но совершенно независимо от направленных против него обвинений и насмешек². Он, как всегда, продолжал идти своим путем. Диалектическая мысль его окрепла³. Увлечения и крайности отошли на задний план. Встал лишь один тревожный вопрос: как быть? Как наладить заново общественную жизнь, чтобы «каждый, соединяясь со всеми, повиновался только себе самому и оставался свободным, как раньше?»

Ответом на эти вопросы и должен был служить «Общественный договор» Руссо, полагавшего, подобно Платону и Гоббсу, что человеческое общество возникло путем сговора, в результате которого создалась «коллективная личность». Вот этот-то «сборный организм» и должен быть не только защитником, но и носителем воли всех составляющих его индивидов. Парламентаризм не является выразителем народной воли. «Депутаты, — пишет Руссо, — не могут быть представителями народа, ибо они всего лишь его приказчики. Всякий закон, не

¹ Эти строки писались в знаменитом поместье Вольтера, «Фернэ», расположенном на границе между Женевой и Францией.

² Вольтер, например, по поводу диссертаций Руссо писал ему так: «Никогда еще не было затрачено столько ума на попытку возратить людям к глупости. Читая вашу книгу, чувствуешь желание пойти на четвереньках».

³ Очень жаль, что за недостатком места я не имею возможности процитировать здесь две великолепные страницы из «Анти-Дюринга», посвященные характеристике диалектического мышления Руссо.



Жан-Жак Руссо

утвержденный непосредственно самим народом, не имеет силы; да это вовсе и не закон...

Говорить сейчас о заблуждениях Руссо не приходится: о них ведь так много писалось. Кому неведомо, что первобытный рай — миф, общество — не организм, и возникло оно не путем договора? И тем не менее значение общественно-философских взглядов великого гражданина Женевы огромно. Чем в самом деле ценно сочинение «О причинах неравенства»? Смелой и резкой критикой общественного строя всей Европы времен Руссо; похвала же «природе», «естественному состоянию» и «золотому веку» важна была как противовес неравенству, нищете, угнетению и рабству, как яркая картина того, что *должно быть*, взамен того, что есть. А «Общественный договор»? Он был и остается величайшим памятником мятежной души, рвущейся из темницы на волю. В этом произведении сказался весь Руссо — защитник демократии и ходатай за ее права, вдохновитель революционной молодежи XVIII века. Идеи «Общественного договора» врезывались в океан народной жизни, воспламеняли сердца, рождали страстное желание бороться за

свободу, готовность пожертвовать собой во имя лучшего уклада жизни. Среди свободлюбивых мыслителей Франции XVIII века Руссо является пророком и апостолом «Великой революции». Он первый заговорил полным голосом о ничем не урезанном народовластии и народоправстве; первый указал на колоссальный вред, принесенный человечеству общественным разделением труда, превращающим людей в пыль людскую; первый призывал к идеалу целостной, всесторонне и гармонично развитой личности, осуществляющей свои многообразные способности, свою волю к красочно-творческой жизни в разумных и справедливых условиях социального строя. «Сделайте человека снова единым (*rendez l'homme un*), — восклицал он, — и вы сделаете его таким счастливым, каким он только может быть!»

Когда вспоминаешь лозунги лучших людей Конвента и неосуществленной «Декларации» 93-го года, когда в памяти встает сокрушенный в дни директории «заговор равных» и величественный образ Гракха Бабефа, сложившего свою буйную голову на плахе; когда, наконец, перед вами вычерчиваются вот эти огненные строки «Манифеста равных»: «С незапамятных времен лицемерно твердят, что люди — братья, и с незапамятных же времен самое унижающее неравенство тяготеет над человечеством... Мы требуем общинного пользования плодами земли, ибо она не принадлежит никому, а плоды ее принадлежат всем... Настал момент осуществить республику равных. Придите и займите место за общим столом, уготовленным природой для своих детей!» — когда вспоминаешь все эти лозунги, то ясно сознаешь, что над ними парит дух бессмертного гражданина Женевы...

Такова в общих чертах картина роста оппозиционных и революционных настроений во Франции XVIII века. Каковы были ее последние, заключительные штрихи, — хорошо известно.

Бесспорно лишь одно: социальная атмосфера эпохи просвещения была насыщена горючим и взрывчатым материалом — сердца горели чувством протеста, негодования и гнева, умы выковывали новые идеи во всех сферах мысли и, само собой разумеется, в области наук, посвященных изу-

чению природы. Материалистическое мировоззрение — неизменный спутник и стимулятор новых общественных классов, выдвинутых на арену истории, обрело героически настроенных защитников; натур-философия, мечтавшая дать всему, что происходит во вселенной, *естественное* объяснение, оттеснила на задний план учение о конечных целях; наука о жизни ознаменовала рост свой появлением целой фаланги крупных дарований, среди которых исключительной популярностью пользовался Бюффон (1707—1788).

Жорж-Луи-Леклерк де Бюффон уже в юности обнаружил большие способности — особенно в математике. Одновременно изучал он право и медицину. Затем проявил огромный интерес к естествознанию. Интенсивно выраженная любознательность толкнула его предпринять путешествие. В течение двух лет он исколесил Францию и Италию, знакомясь с их ландшафтами, пейзажами, природными дарами и населением. В то же время много читал, увлекаясь лучшими произведениями философии, науки, литературы. Особенно привлекала его научная карьера, и он сперва ударился в изучение ботаники. Уже 26 лет он член-корреспондент Французской Академии наук. Накопление знаний продолжается. Ширится и карьера его. Шесть лет спустя его назначают управляющим Королевским садом в Париже (позднее — Jardin des plantes, не столько ботанический, сколько зоологический сад).

Бюффон — человек со средствами. Это позволяло ему полностью удовлетворять свою страсть к изучению природы. К его услугам — естественноисторические книги всех сколько-нибудь известных тогда старых и новых натуралистов. К его услугам богатые естественноисторические коллекции: не суетное тщеславие, а живой, глубокий интерес к природе заставлял его собирать их. К его услугам — специалисты в области ботаники, зоологии, анатомии, минералогии: у них заимствует он практические приемы, необходимые для исследования фактов и законов природы.

Он знает, к чему стремится. Перед прозорливой мыслью его уже носятся туманные абрисы большой картины, которую он собирается написать. Но выполнение ее тре-



Жорж-Луи-Леклерк де Бюффон

бует серьезной подготовки, длительного и напряженного труда. Он не спешит с выпуском ее в свет.

Проходит со времени вступления в заведование Королевским садом добрых десять лет, и появляются первые три тома его обширного труда — «Histoire naturelle, générale et particulière». Книги производят огромное впечатление. Их читают нарасхват. Они написаны увлекательно, полны самобытных мыслей, выраженных изящным языком, удовлетворяющим самому требовательному литературному вкусу. «C'est la plus belle plume du siècle», — говорит Руссо. А другие называют Бюффона «живописцем идей» («peintre d'idées»).

Он выпускает следующие томы «Естественной истории». Их продолжают принимать с энтузиазмом: переиздают, переводят на иностранные языки, делают достоянием всех мало-мальски культурных людей, интересующихся историей мира и земли, происхождением и развитием жизни на нашей планете, судьбами растительного и животного мира, местом человека в природе. (5)

Бюффона величали Плинием XVIII века, и в устах одних это было величайшей похвалой, в устах других — если не порицанием, то рекомендацией сомнительного свойства. Дело в том, что часть профессуры



Белый медведь (из книги Бюффона «Histoire naturelle»)

неодобрительно относилась к Бюффону. Специалистам не нравилась его манера письма, его стиль: им он казался слишком пышным, подчеркнуто красивым. Так же не одобряли они его влечения к широким обобщениям и смелым гипотезам, квалифицируемым как сплошные фантазии. «Талантливый дилетант, а не ученый» — таков был приговор официальной науки. К сожалению, и сейчас многие профессионалы склонны так именно относиться к Бюффону. Это, конечно, абсолютно неправильно — и в

свете исторической ретроспекции, и с точки зрения той объективности, которую, как это ни печально, далеко не всегда проявляют кастовые ученые. Не потому неправильно, что у Бюффона все обстоит благополучно. Натуралисту наших дней совсем не трудно найти у него много недочетов и крупные ошибки. Он действительно увлекается творчеством гипотез, подчиняясь полетам своей фантазии. Он доверчив — иной раз без достаточной критики верит всему, что напечатано в прочитанной им книге и что рассказывает словоохотливый путешественник. Но тот, кто знает, как много и добросовестно работал Бюффон, кто составляет о нем свое суждение не из вторых и тем более третьих рук, тот, учитывая все отрицательные стороны его сочинений, увидит в них и огромные достоинства: обширную эрудицию, широкий охват мысли, смелые, но оправданные наукой догадки, способность отрываться от опошленных традицией взглядов, умение сказать нечто свое, жизнеспособное: у Бюффона имеется немало интересных мыслей, которые позднее обстоятельно развивали такие первоклассные мыслители, как Дидро, Ламарк и Дарвин.

Обратимся же к трудам Бюффона и остановимся первым делом на его истории земли и гипотезе происхождения солнечной системы.

Идеи, изложенные Декартом в трактате «Le Monde» и Лейбницем в «Protogea», были, конечно, известны Бюффону. И тем не менее его космогонические и геологические взгляды безусловно оригинальны и имеют нечто общее с позднее высказанными взглядами Канта, Лапласа и частью Ляйеля.

Исходной предпосылкой космогонии Бюффона служит чисто материалистический взгляд на неразрывность материи и движения. «La matière n'a jamais existé sans mouvement» («материя без движения никогда не существовала»), — говорит он. «Le mouvement est donc aussi ancien que la matière» («Движение, следовательно, столь же старо, как и материя»). Движение материи сказывается в притяжении и отталкивании атомов и молекул, из которых она сложена, а различные «силы» — теплота, свет, электричество — результат движения